# Начало очень долгого пути

# Сергей Снегов

### 1

Весь 1935 год я прожил в смутном ожидании беды. Ленинград трясла политическая лихорадка. Шли массовые аресты и высылки — великая очистка славного города от беспощадных врагов советской власти, — так эта широко задуманная акция вполне пристойно именовалась в должностных разговорах. А в беседах вполголоса делились слухами об уходящих из города поездах, набитых всяческими социальными врагами — детьми, женщинами и стариками, семьями бывших аристократов и дворян, либеральных профессоров и имперских чиновников, служителей культа и буржуазного псевдоискусства и прочих представителей тлетворного западного образа жизни. И я, сын рабочего, подпольщика-большевика, то есть по крови естественнейший образец государственной добропорядочности, недавно тоже был закономерно сопричислен к кругу этих заклейменных людей. Два года назад комиссия, проверявшая идеологическое состояние одесских вузов, посетила мою лекцию в университете и обнаружила чудовищные отклонения от истинного марксизма-ленинизма и возмутительные несогласия с испытанной партийной линией. Лекцию квалифицировали как «троцкистский гнило-либеральный уклон». Все тогда публично признавались в ошибках и каялись во множестве поминутно совершаемых грехов. Комсомол и ректорат потребовали от меня покаяния. Я пообещал углубиться в марксизм-ленинизм и отныне полностью проникнуться его духом. То ли от меня ожидали большего, то ли сам мой голос показался неискренним, но меня исключили из комсомола, потом сняли с должности доцента университета и вскоре дали понять, что в городе Одессе уже не найти подходящего местечка для таких недостойных особ, как я. Я посчитал это велением свыше — перебраться наконец в город, о котором всегда мечтал, и уехал в Ленинград. В Ленинграде мне помогли — я все же по диплому был физиком — определиться на завод «Пирометр» инженером-исследователем по высоким температурам.

Я, конечно, понимал, что сменить один город на другой — дело сравнительно нехитрое, но избавиться от раковой опухоли в биографии уже не удастся. Я стал отщепенцем в родной стране. Я был заранее готов к карам за то, что в чем-то разошелся с общепредписанными взглядами. Я только вступил в третий десяток жизни, но жизни больше не будет, так я это спокойно понимал, без паники размышляя о грядущем. И даже с каким-то любопытством ожидал, что же вскорости совершится.

А в ноябрьский праздник 1935 года случилось событие, едва не ставшее для меня трагическим. На завод пришла партия платины от немецкой фирмы «Гереус» — что-то около килограмма тонкой проволоки, из нее изготавливали термопары для измерения температур до 1500°. Платиновую проволоку передали мне для оценки ее электрических свойств. Платина была отличного качества, иначе как на «отлично» знаменитая фирма не работала. К концу проверки подошло время обеда. Я позвонил начальнику лаборатории Морозову, что платину можно выдавать в производство и что я беру ее с собой в столовую. В столовой обедали в три смены — сперва рабочие одного цеха, потом — другого, а в заключение — всех рангов заводское начальство, инженеров лаборатории причислили к ним. В зале было человека три-четыре, подавальщицы убирали столы, какой-то немолодой мужчина развешивал на стенах портреты вождей. Я положил на стол моток проволоки, Морозов равнодушно посмотрел на него и спрятал в карман. Мы поели и разошлись, я еще где-то задержался, а когда вернулся к себе, встревоженная лаборантка сказала, что меня срочно требует Михаил Сергеевич Морозов. Я схватил трубку.

— Сергей, что случилось? — взволнованно допрашивал Морозов. — Куда ты подевал платину?

— Ничего не случилось, — ответил я. — Платина у тебя. Выражаясь по Бабелю, собственноручно видел, как ты сунул моток в карман.

— Нет у меня платины, — объявил Морозов. — Немедленно бежим в столовую, возможно, я там ее обронил.

В столовой было чисто и пусто. Мы кинулись к Чеботареву, директору завода. Директор был прямолинеен, как телеграфный столб. Он досконально знал, как бороться с пропажами.

— Воровство, — объявил он. — Всем сменам на вахте— общий обыск. Всех уборщиц и подавальщиц немедленно ко мне! В органы пока сообщать не буду, но ведомственную охрану — на ноги!

Ни уборщицы, ни подавальщицы, ни мужчина, развешивавший портреты в столовой, никакой платины не видели, по их насмерть перепуганным лицам было ясно, что они не лгут. Настроение директора переменилось.

— Если обыски на вахте не дадут результатов, значит, не воровство, а нечто похуже. Не исключаю диверсии, указания из Москвы насчет вражеских попыток недавно разосланы по всем заводам. После праздников сообщу в ГПУ, пусть присылают своих специалистов.

По заводу быстро разнесся слух о ЧП в лаборатории. Общий обыск дневной смены — каждого входящего осматривали и ощупывали — подтвердил чрезвычайность события. Обыски на заводе были привычны, во всех цехах работали с драгоценными металлами — серебро шло на провода в электрических термометрах, золото на подвески перьев в самопишущих приборах, платина, как я уже сказал, на термопары. Но обычно обыски ограничивались выборочной проверкой того, что с собой выносит один из пяти или десяти рабочих. Всеобщий обыск тоже значился в списке функций охраны, но, как мне объясняли старожилы, его уже несколько лет не было. А сейчас на вахте появилась целая команда охранников, обыскивали с такой тщательностью, какой еще не знали, снимали и осматривали даже ботинки. Перед вахтой выстроились закончившие свою смену — простаивали больше часа, пока доходила очередь на досмотр. Ни у дневной, ни у вечерней смены, а потом и у ночной обыски не выявили и следа пропавшей платины. На следующий день мы аккуратно отшагали заводской колонной с нашей улицы Скороходова по проспекту Красных Зорь на площадь 25 Октября. Во время парада Морозов прошептал мне:

— Плохи наши дела, Сергей. Уверен, что к нам с тобой уже подбирают ключи. Завтра Чеботарев вызовет спецов из Большого Дома.

Но Чеботарев так и не осведомил ГПУ о пропаже платины. Розыск властно взял в свои руки главный инженер завода Кульбуш. Утром всех начальников цехов и служб он вызвал в свой кабинет.

— Не верю в кражу платины, — объявил он. — Платину не продать, не пустить на промысел, она числится в стратегических материалах. И пока что в 5—6 раз дороже золота. За мешок зерна, за кусок сукна по закону от 7 августа дают десять лет лагерей, а тут килограмм платины ценой в десяток тысяч долларов. Воровать такой нереализуемый товар — сознательно подставить затылок под пулю. Настоящие воры редко бывают круглыми дураками. Вызвать ко мне, кто был в столовой.

Мы с Морозовым присутствовали при допросе, который Кульбуш учинил всем, кто находился во второй половине дня в столовой. Загадка разъяснилась быстро.

— Ты взял платину? Признавайся! — приказал Кульбуш мужчине, развешивавшему к празднику портреты вождей. — Только чистосердечное признание...

Мужчина побелел от страха.

— Что вы! Да никогда в жизни... Куска сахара не воровал даже в детстве. А вы — платину!..

— Не воровал — значит, нашел. Повторяю, только признание...

— Да не видал я платины! Ни куска не видал...

— А что видел? Что делал, кроме развешивания портретов?

— Еще ветки хвои под портретами развесил. Хвою привезли утром, а железную проволоку я принес со склада. Только проволока была не гибкая, я ее потом унес всю обратно на склад, можете проверить. Нашел другую, помягче, на ней и закрепил зелень.

— Где нашел мягкую проволоку?

— На полу валялась. Кто-то выбросил, я поднял.

— Быстро в столовую!

Мы вчетвером побежали в столовую, стали срывать зелень со стен. Хвоя была развешана на платине, драгоценная проволока аккуратно крепилась на вбитых в деревянную стену гвоздях. Смотав ее, мы кинулись в лабораторию. Вся платина была на месте — грамм в грамм.

— Силен ваш Бог, други! — сказал Кульбуш, радостно улыбаясь. — Спасли свои молодые жизни! Но нехорошие последствия еще будут, не думайте, что пройдет бесследно. Впрочем, все это теперь мура.

Он был выдающимся инженером и ученым, Георгий Павлович Кульбуш, но весьма посредственным политическим пророком. То и другое он доказал собственной жизнью — и статьями и книгами, им написанными, и своей кончиной, не то в каких-то пыточных казематах ленинградской ЧК, не то в наспех созданной для таких, как он, тюремно-научной шарашке. Он знал только свои сильные стороны, они были каждому очевидны, и пренебрегал пустяками, не относящимися непосредственно к делу, а пустяки эти — остроты, шуточки, резкие словечки, то возражения, то сомнения — вдруг в какой-то период стали куда огромней самого огромного дела. Слово победило дела, — он по натуре своей не мог этого понять. Не могли этого понять и мы, молодые инженеры, влюбленные в своего руководителя, даже внешне красивого: хороший рост, спортивная фигура, тщательно выполненная бородка. Я должен сказать хоть несколько слов об этом замечательном человеке, еще в молодые годы прозванном отцом советской пирометрии, — боюсь, уже никто, кроме меня, их не скажет. Автор отлично написанной книги «Электрические пирометры», подлинной энциклопедии электрических методов измерения и регулирования высоких температур в промышленных установках, он создал новую в нашей стране отрасль индустрии. Ленинградский завод «Пирометр», единственное тогда в Союзе предприятие такого рода, был его подлинным детищем — Кульбуш его расширял, совершенствовал, превратил из кустарной мастерской в индустриальный гигант. Уже в тридцатых годах на «Пирометре» работало около тысячи человек, а после войны много тысяч — для предприятия точных приборов масштаб незаурядный. Георгий Павлович Кульбуш, инженер и промышленный руководитель, был еще и выдающимся ученым, теоретиком и экспериментатором, — он сам испытывал создаваемые приборы, рассчитывал их конструкцию, создавал математические теории их действия. И, как всякий настоящий интеллигент, поражал не только специальными знаниями, но и всесторонней образованностью — любил искусство, знал историю, разбирался в художественной литературе. И еще, быть может, самое важное — он был проникновенно добр. Для такого человека его время предначертало единственную дорогу. Он погиб в заключении, потому что стоял много выше своего окружения.

И мы, естественно, свято веря каждому его слову и освободившись от страха суда, продолжали ожидать административных кар. Но Кульбуш уговорил Чеботарева замять неприятное происшествие — не к их чести оповещать всех, что на заводе совершаются такие безобразия, как потеря импортных материалов стоимостью в десятки тысяч золотых марок. Уже за одно то, что платину положили в карман, а не в сейф, надо и виновников, и все руководство завода взгреть по первое число... Зачем заводу такая слава?

День проходил за днем, а ожидаемых наказаний не свершалось, и мы понемногу успокаивались. Возобновили мелкие производственные шалости — из разряда тех, что порождают смех и словесные укоризны, но не суровые наказания. Я налаживал выпуск первых в стране оптических пирометров. Оптическая ось этих приборов — воображаемая математическая линия, соединяющая фокусы стеклянных линз, — служила излюбленной темой для шуточек. Я выписывал со склада спирт на промывку оптических осей, а не на те нужды, для которых он реально выделялся, и, бывало, к общей нашей радости, получал затребованное. А Морозов спровоцировал инженера из техотдела, механика по специальности, на строгий запрос в лабораторию: «Срочно сообщите, какие в микронах допуски на механическую обточку ваших оптических осей». Подобные шалости скрашивали однообразную производственную жизнь.

А весной 1936 года Морозов ушел с завода после обеда и воротился к вечеру сильно взволнованный.

— Вызывали в Большой Дом, — сказал он мне. — Учинили допрос.

Большим Домом в Ленинграде называли огромное здание ГПУ, недавно выстроенное на углу Литейного проспекта и бывшей Шпалерной.

— Платина? — спросил я со страхом.

— Не платина, а ты. Интересовались, кто ты такой, почему появился в Ленинграде, как устроился на завод, как ведешь себя на работе. Кто-то настучал на тебя, так я думаю.

— А ты что сказал?

— Что надо, то и говорил. Что хороший работник, что я подал рапорт о повышении тебе зарплаты, что Кульбуш рапорт поддерживает. Не в моих ответах дело. Кто злобствует на тебя — вот загадка...

Я молчал. Для меня загадки не существовало. У меня был один жестокий враг, всячески мешавший мне жить. Этим постоянным врагом себе был я сам. Надо было укладываться в общий ритм, держать предписанный шаг, а мир мне звучал стихами, а не командами — и я фатально сбивался с ноги. Для меня не было сомнения, что до Ленинграда наконец докатились донесения о моих одесских провинах — уклон от священных истин государственного учения, исключение из комсомола, увольнение с работы... Надо было ждать очередной заслуженной кары. Я уже смирился с тем, что она неизбежно грянет.

### 2

Арестовали меня вечером шестого июня. День тот и вечер были до удивления хороши. Подходила пора белых ночей. Я задержался на заводе и вышел поздно. Нисходящее солнце пересекало проспект Красных Зорь — небо по оси проспекта пламенело, не погасая. Уже несколько лет меня мучила подхваченная на юге в камышовых плавнях Голой Пристани трехдневная малярия. Был именно тот средний в трехдневке день, когда она передыхала, давая и мне передохнуть. Я шел по проспекту, остановился на мосту через Неву, долго дышал свежестью быстротекущей воды, долго любовался небесными пламенами, прошел мимо торжественной решетки Летнего сада, свернул по Фонтанке и Сергиевской в Соляной переулок — там помещался дом, где жене недавно удалось раздобыть две крошечные комнатки. Было хорошо, как редко бывало. Я даже растрогался от красоты мира, в котором удалось жить.

Дома меня ждал чужой паренек, чуть постарше моих двадцати пяти лет, с ордером на обыск и арест.

Жена и домработница смотрели на меня с ужасом, словно я на их глазах погибал. Я знал, что в книгах мужественные герои ведут себя при арестах с достоинством и спокойствием. Я не мог оказаться хуже, чем они, тем более на глазах жены и милой девушки, бежавшей из разоренного и голодного села в более спокойный и сытый город. Я помнил, как вел себя Борис Савинков, когда его, ужинавшего в избе на белорусской границе с Польшей, схватили чекисты. И я разыграл сцену для двух женщин точно по Савинкову.

— Делайте свое дело, а я буду делать свое, — сказал я оперативнику из ГПУ и попросил домработницу: — Машенька, есть хочу, давай, что наготовила.

Жена показывала оперативнику, где лежат мои вещи, письма и рукописи, а я неторопливо поедал яичницу. Он управился с обыском быстрей, чем я с ужином, и подошел ко мне с кипой бумаг.

— Письма, записи и паспорт с профсоюзным билетом забираю, а диплом об окончании университета оставляю, он еще понадобится вам в жизни. Распишитесь в протоколе изъятия.

— Паспорт и профбилет мне тоже нужны в жизни, —возразил я.

— Это решать не вам и не мне. Кому положено, установят, что вам нужно для жизни. Одевайтесь, поедем.

Я в это время, покончив с яичницей, принялся за какао.

— Раньше, чем поужинаю, одеваться не буду. Если вам скучно ждать, могу и вам налить чашечку.

Он присел, зло поглядел на меня.

— Вы, оказывается, порядочный нахал.

— Просто человек, которому вы давать какао не будете. Надо заправиться на дорогу.

Одевшись, я поцеловал спящую в кроватке двухлетнюю дочку, обнял жену, попрощался с Машей.

— До скорого возвращения, долго задерживаться не буду, — бодро пообещал я женщинам. — Наверное, какие-нибудь пустяки, недоразумение легко разъяснится.

Хорошо помню, что, обещая им скорое возвращение, я знал, что ни скорого, ни вообще возвращения,

возможно, не будет. Слишком уж зловеще сгустилась политическая атмосфера лета 1936 года.

Во дворе стояла закрытая арестантская машина — обшарпанный фургон с решетчатой дверью сзади. Вскоре мне предстояло разъезжать в иных тюремных машинах: роскошных грузовиках с камуфлирующей надписью «Мясо», свежо выкрашенных, глухо задраенных, внутри с десятком крохотных изолированных стоячих камер на одного, а всего на добрый десяток арестантов, которым нельзя ни видеться, ни переговариваться, — техническое совершенство, специально сконструированное для перевозок подследственных.

Была уже глубокая светлая ночь, когда меня привезли в тюрьму на Нижегородской, раздели, обыскали и поселили в одиночной камере. Ко мне досрочно возвратилась ожидавшаяся лишь завтра малярийная лихорадка. Я впал в забытье. В последние месяцы мне стало нравиться полусознание-полубодрствование после озноба и тряски. Вероятно, тут было что-то схожее с наркотическим дурманом: фантастические видения, мир без предметов и света, одни ощущения — нереальности, ставшие предметными. Алкогольное опьянение таких ощущений не давало.

Утром меня снова посадили в автокаталажку, переслали в Большой Дом и заперли в камеру, в которой могло бы поместиться свободно человек двадцать, а находился в ней лишь я один. Окно было из тех, в какие ничего не углядеть, зато дверью служила массивная решетка от пола до потолка: каждый проходивший по коридору мог видеть меня. И я мог разглядывать всех проходящих, только их было мало, они ходили торопливо и в решетчатую дверь не всматривались. Самая пора была поразмыслить, какие обвинения мне предъявят и какого наказания ожидать, раз уж притянули под наказание. Но я не сумел задуматься о себе. Я рассматривал камеру и думал о тех, кто сидел в ней. Стены были покрыты надписями, выцарапанными в штукатурке не то острыми деревяшками, не то черенками алюминиевых ложек — их выдавали к еде. И по надписям было видно, что камерный народ подбирался разный. Какого-либо предпочтения аристократам и интеллигентам перед рабочими и совслужащими я не разглядел. Большинство изливало душу в матерщине, кто-то скорбел о матери родной, кто-то заклинал свою девушку вечно помнить о нем. Несколько надписей я запомнил на всю жизнь. «Получил пять лет Чибью по статье Уголовного кодекса РСФСР за не хрен собачий», — с мрачной корявостью извещал кто-то, осужденный в Печорские лагеря в районе местечка Чибия. Двое, по всему — интеллигенты, затеяли настенный спор на философско-тюремную тему: «Не теряй надежды, сюда входящий: ты не один!» — оптимистически переиначивал Данте первый. «И не радуйся, уходящий: тебя не забудут!» — зловеще откликался другой. Я думал о том, что во Франции существует Академия Надписей и что почтенные академики, ее действительные и почетные члены, по найденным на могильных камнях письменам составляют отчетливое представление о жизни народа, оставившего эти полустертые знаки. Какую картину нашей жизни нарисовали бы чужие ученые, если бы .им предъявили целую библиотеку настенных надписей в советских тюрьмах? Я не предвидел, что всего через год мне в составе большого этапа осужденных придется проходить под надвратной церковью одного из вологодских монастырей, превращенных ныне в тюрьму, и на воротах мы увидим отнюдь не обещающий отдохновения выполненный в камне призыв: «Придите ко Мне все страждущие — и Я упокою вас». Многие этапники, и один мой содельник в том числе, и впрямь нашли вечное упокоение в этом храме страждущих со строгим режимом содержания.

Начитавшись поучительных надписей и набегавшись по камере, я уснул. Утром, в уже знакомой каталажке, меня привезли на Московский вокзал, посадили в пенальчик зарешеченного купе — вагон был из арестантских и, похоже, для важных преступников, нуждавшихся в предписанном одиночестве. Я спросил конвоира, куда меня отправляют. Он ответил с исчерпывающей прямотой:

— Куда надо, туда и везем.

Поезд пошел на Москву.

### 3

После нового обыска — и на этот раз гораздо более тщательного: лезли в рот, выискивали в ушах, раздвигали ягодицы и пальцы ног, — охранник повел меня по недлинному, но широкому коридору. На полу лежала ковровая дорожка, заглушавшая шаги, охранник был в валенках, обуви не по сезону, — все обеспечивало абсолютную бесшумность передвижения. По левую руку простиралась глухая стена, по правую — одна дверь сменяла другую, на каждой значились номера. Охранник довел меня до двери № 6, открыл ее большим ключом и ввел внутрь.

Это была просторная комната, мало напоминавшая тюремную камеру: высокий потолок, широкое окно, прикрытое снаружи деревянным щитком, паркетный пол. Вдоль одной из стен выстроился ряд обыкновенных нар, прикрытых армейскими одеялами, на каждой сидели и лежали мужчины — кто в пиджаке, кто в одном нижнем белье. Нара у окна была свободна, и охранник подвел меня к ней.

— Ваша. Отдыхайте, пока не вызвали.

Я сел на нару и осмотрелся. Рядом со мной лежал полный ухоженный мужчина средних лет, за ним неряшливый старичок явно с азиатского юга, а у двери ничком на животе валялся некто черноволосый и чрезвычайно носатый — нос так выпирал из щек, что человеку нельзя было просто уткнуться лицом в подушку, и он круто вывернул голову.

Я спросил холеного соседа:

— Скажите, пожалуйста, где я нахожусь?

Он посмотрел на меня, как на умалишенного.

— Вы что — прямо с Луны свалились?

Я постарался говорить вежливо.

— Нет, не с Луны, а из Ленинграда. С вокзала привезли сюда.

Он переменил тон.

— Тогда ставлю вас в известность, что вы, во-первых, в Москве, во-вторых, на Лубянке, то есть в самой элитарной тюрьме Советского Союза, а в-третьих, в собачнике. Наверное, большие дела за вами числятся, если не доверили следствие Ленинграду, а привезли сюда.

О Лубянской тюрьме я был наслышан, но что такое собачник — не понял. И больших преступных дел за собой не знал — только идеологические прегрешения. Специального вывоза из Ленинграда в Москву они, по-моему, не заслуживали. Сосед с сомнением качал головой.

— Странно, странно... Жестокими здесь бывают, даже зверствуют. Все же Лубянка, это понимать надо. Но чтобы глупостями заниматься? На них не похоже, нет. Впрочем, вызовут — объяснят, зачем вы в Москве понадобились. А собачник — место, где поселяют недавно арестованных, пока подберут им настоящие тюремные камеры.

— Похоже, скорей, на нормальное жилье, а не на камеру, — сказал я.

Он зевнул.

— А что вы хотите? Ведь сама Лубянская тюрьма — бывшая гостиница. Дух дореволюционный вытравили, но стены и полы не переделать.

Он замолчал и отвернулся от меня. Я разлегся на наре. Ко мне подошел старичок-узбек или таджик — и присел рядом.

— Слушай, тебя обыскивали? — Он для осторожности понизил голос. Он хорошо говорил по-русски. — И нашли?

— Ничего не нашли, — ответил я. — Что у меня можно найти?

— И у меня не нашли, — объявил он с тихой радостью. — Между пальцами искали, а я его прилепил к подошве. Вот посмотри — опий. Из Самарканда вез.

Он показал мне грязноватую лепешку. Я подержал ее и понюхал. От лепешки шел нехороший запах — то ли ее собственный, то ли от ноги, к которой она была прикреплена. Я спросил:

— Зачем вам опий?

— Не могу, — сказал он печально. — Умру без него. На неделю хватит, а потом — конец!

— Что же вы сделаете, когда кончится ваш опий?

— Что сделаю, что сделаю... Ничего не сделаю. Скажу хозяину — пиши на меня, что хочешь, только отпусти из тюрьмы.

— А если из тюрьмы выпустят в лагерь?

— В лагере хорошо. Уже был, знаю. Из Самарканда пришлют посылку. Опять буду жить.

Он отошел, я задремал. В камере было жарко и душно. Меня бил малярийный приступ. В голове путались тюремная комната и широкий сияющий мир. Я шел по площади, которую окантовали три разноликих храма — высокая готика, противоестественно слитая с гармоничной античностью, стремящиеся к небу башни и томно раскинувшиеся строенья с колоннами, словно выросшими из земли. Никогда в реальной жизни я не видел такого прекрасного архитектурного сумбура, это было сновидение, но из тех, что повторяются, — много лет оно потом возникало во мне, почти не меняясь.

Меня осторожно потряс за плечо холеный сосед.

— Вы не спите? — сказал он, убедившись, что я проснулся. — Хочется поговорить. Знаете, иные думы — хуже пули, так пронзают. Мне от вышки не уйти, только я их обману, умру раньше, чем поведут на расстрел. У меня рак желудка, и очень запущенный.

— На больного раком вы не похожи, — заметил я.

— Что не худой, не изможденный, да? Так ведь болезнь идет по-разному, а в литературе все пишут одной краской. Вот Горького взять — классик, да? И знающий литератор, правда? А как соврал об Егоре Булычеве! Когда рак желудка, человек в приступе только об одном думает — найти бы позу, чтоб меньше болело, замереть, застыть в ней. А у него Егор в приступе орет, топает ногами, всячески бушует — преодолевает, мол, ощущение боли. Вздор же! Нет, мне долго не протянуть.

— А почему вы решили, что вам грозит вышка?

— А чего ждать другого? Я — главный инженер строящейся первой в стране автострады Москва— Минск. У такого человека все на виду, всякое лычко шьется в строку. Мои старые друзья — где они? С Промпартией поступили еще мягко, сейчас расчеты куда жестче. Впрочем, пошлем к черту нашу арестантскую судьбу. Поговорим о чем-нибудь поинтересней. Вы музыку любите? Я так и думал. А Шостакович вам по душе? Статейку эту — «Сумбур в музыке» — читали? Очень, очень хлестко! Чувствуется властительная рука. Выпороли молодца перед всей честной публикой, не пожалели ни юных лет, ни дарования. А я вам скажу вот что. Если и будет в советской музыке потом что-нибудь великое, то его создаст высеченный публично Шостакович. Только бы он снес порку, а это под вопросом. Помните, как в «Городе Глупове» один генерал, посетив какую-то древнюю старушенцию, философски изрек: «По-моему, и десяти розог она не выдержит!» И ведь прав генерал со своей глубокой гносеологией — не вынесла бы та старушка десяти розог, не вынесла! Дай Бог, чтобы Шостакович вынес. У вас закрываются глаза. Ладно, спите, спите, больше мешать не буду.

Я снова заснул и проспал всю ночь. Ночью главного инженера автострады Москва — Минск увели. Утром на его место поселили разбитного красивого парня лет тридцати, с пронзительными глазами. Я спросил у носатого: не требовали меня, пока я спал, на допрос? Глупый вопрос вызвал смех всей камеры. Носатый разъяснил:

— Думаешь, увидели, что задремал, и пожалели будить? Вызовут еще, вызовут — и здорового разбудят, и больного потащат, тут не церемонятся. Жди своего часа.

Он говорил с сильным иностранным акцентом. Я вскоре узнал, что он болгарин, работник Коминтерна. Не то не поладил с самим Димитровым, не то высказался наперекосяк линии. Потащили для выяснения на Лубянку, а выяснят, что за душой камня не держит, — воротят в прежнее коминтерновское кресло. Так он объяснил мне, глубоко уверенный, что попал в собачник — тюремный распределитель — по мелкому недоразумению, оттого и держат вторую неделю без вызова. На третий день его увели из собачника. Только вряд ли он воротился в покинутое коминтерновское кресло.

Я ждал вызова, засыпал, снова в тревоге просыпался — не идут ли за мной. В камере становилось все жарче. Меня заливал пот, рубашка стала влажной, противно прилипала к телу. В обед пришли за старичком-узбеком. Он помахал мне рукой и подмигнул — вот видишь, уже выпускают, а я еще не весь свой опий израсходовал. Я улыбнулся ему и тоже махнул рукой. К вечеру духота стала такой тяжкой, что слюна во рту пропала, язык шевелился с трудом. Ко мне подсел разбитной парень и весело хлопнул по плечу.

— Сосед, дыши носом, не разевай так рта. Всю воду выдохнешь, слова не сможешь сказать. Тебя следователь не вызывал?

— У меня малярия, — с усилием выговорил я. — Второй день сижу здесь. Никто не вызывает.

— Вызовут. За что посадили?

— Понятия не имею.

— Значит, скажут. И не скажут — оглоушат. Подберут что пострашнее и разом по голове, чтобы мигом сбить с копыт. Такова работа.

— И вас оглоушивали и сбивали с копыт?

— Меня зачем? — сказал он чуть ли не с гордостью. — Я сразу признался. Я ведь кто? Натуральный шпион, таких ценят.

— Шпион? До сих пор шпионов я встречал только в книгах.

— Шпион! Уже давно стараюсь. Надоело по четвертушке хлеба в часовых очередях ждать... А кругом — тайн навалом, только навостри уши, пошире разверни глаза, принюхайся к дыму из труб. Я с Урала, там в пятилетку такого понастроили! Два дела хороших провернул. На одном военном заводе важную продукцию давали, все знали — какую. А сколько давали? На одной цифирке «сколько» можно богачом стать. Знаешь, что я открыл? Не сколько, а что! Совсем новая продукция шла с завода, только прикрывали старой, тоже важной, ничего не скажу, но — никакого сравнения. И второе дело не хуже. А на третьем засыпался. Сегодня ночью в пять за мной придут. Боюсь, хана!

— Приговорили к расстрелу?

— Если бы приговорили, сидел бы в камере смертников, а не в собачнике. Шпионов не расходуют понапрасну. Мне следователь сказал: «Ты теперь у нас обменный фонд, будем отдавать за своего, что попался у них». Нет, дело похуже, чем приговор. Приговор всегда могут пересмотреть, а всадят пулю в сердце — какой пересмотр?

— Чего же вы страшитесь?

— Утром поведут в аэропорт брать летчика, я с ним добытое передавал. И фамилии его не знаю, только рожами знакомы. Надо к нему подойти и задержать, пока схватит. А он отчаянный и всегда при пистоне. Не раз грозился: «Если надумаешь выдать, мне умереть завтра, тебе — конец сегодня!» Ворошиловский стрелок лучше самого маршала. Вот почему посадили в собачник — чтобы ожидал выхода уже одетым. В общем, если не вернусь, нет меня.

— Будем надеяться, что вернетесь.

Он повалился одетым на нару и тут же захрапел. Я метался на одеяле, не засыпая. Ночь тянулась в бреду и поту. На рассвете в камере появились трое и тихо подергали соседа. Он вскочил и молча пошел за ними. Больше я его не видел. Не знаю, правду ли он говорил об аресте летчика, или то было болезненное воображение. Для хорошего шпиона он все же казался не вполне нормальным.

### 4

Вызвали меня на допрос на третий или четвертый день пребывания в собачнике. Вели из помещения в помещение, с этажа на этаж, один коридор сменялся другим, пока конвоир не открыл дверь в назначенную комнату. В комнате было окно и три двери — одна, в которую я вошел из коридора, и две другие в боковых стенах. В окне виднелась Никольская башня Кремля. Спиной к окну за большим столом сидел высокий крепкий мужчина в военной форме. В петлицах гимнастерки светились два ромба. Мои военные знания были скудны, но что двумя ромбами отмечаются генералы, я уже знал. Меня долго потом удивляло, зачем на такое служебное ничтожество, каким был я, напустили следователя в генеральском чине. А сам важный двухромбовик выглядел вполне интеллигентно, только резко скошенный подбородок не координировался с широким лицом и небольшими проницательными глазами.

Следователь жестом показал мне на стул, отпустил конвоира, положил на пустой стол лист бумаги и

неторопливо начал:

— Моя фамилия Сюганов. Ответьте честно — почему вас арестовали?

Я догадывался, что именно так он начнет допрос, — о подобных нехитрых приемах меня уже просветили в собачнике — и отпарировал:

— Скажите сами, гражданин Сюганов, и тогда я буду знать, в чем меня обвиняют.

— Я спрашиваю не о том, в чем вас будут обвинять, это уже мое, а не ваше дело. Я спрашиваю, не знаете ли за собой вины, за которую вас надо наказать? Какие чувствуете за собой грешки?

— Не знаю у себя таких грехов, которые требуют ареста.

— Безгрешны, короче? Банальный ответ. Имею сведения, что вы человек умный, а отвечаете достойно дебила или безграмотного мужика. И вообще учтите, знаю о вас хотя и не все, но многое. Хочу определить вашу искренность по тому, как соответствуют ваши признания всему, что уже знаю о вас.

Моя природная насмешливость сразу же подсказала мне, как в одной из любимых моих книг следователь говорил арестованному солдату: «Швейк, следователю известно о вас абсолютно все. Вам остается только показать, где, когда, с кем и что именно вы совершали». Но, конечно, в строгом кабинете с видом на Кремль я не осмелился щеголять рискованными литературными цитатами. Я молчал.

— Итак, запишем, — сказал Сюганов, не беря, однако, ручки, — что вы не совершали никаких проступков ни в Одессе, где раньше жили, ни в Ленинграде, где нынче живете, ни в Москве, где иногда бываете. И что арестовали вас беспричинно. Это будет правильный ответ?

Мне вообразилось, что он знает и о моем исключении из комсомола в Одессе, и о происшествии с кратковременной пропажей платины. Лучше уж мне самому признаться в этих случаях, чем выслушать от него, что пытался их скрыть.

— Нет, такой ответ будет неправилен. Правильным будет другое.

И я рассказал ему, как ученая идеологическая комиссия в Одесском университете нашла в одной моей лекции серьезные отклонения от марксизма-ленинизма, как меня горячо осуждали на комсомольском собрании, а потом исключили из комсомола и выгнали с преподавательской работы. И как в Ленинграде, куда я перебрался из Одессы, произошла неприятность с пропажей импортной платины, но все закончилось благополучно. Больше серьезных провинностей я за собой не знал.

— Так, так, — сказал Сюганов. — Идеальная биография — разок сболтнул что-то антипартийное, но мигом поправился, выронил из кармана государственное имущество, но тут же нашел. Хорошо подобранные пустячки. И ради выяснения этих пустячков вы бежали из Одессы в Ленинград, а нам пришлось этапировать вас из Ленинграда в Москву? Вы что — дураками нас считаете?

— Ничего более важного за собой я не знаю.

— Знаете. И мы знаем. Расскажите теперь, как вы готовили заговор против советской власти, как замышляли террористический акт против руководителей партии, как пытались осуществить свой гнусный замысел. Вот о чем говорите, а не прикрывайтесь вздором о своих комсомольских неурядицах.

— Ничего не было, что вы придумываете! — воскликнул я, не так ошеломленный, как возмущенный. — Все это поклеп! Абсурд и чепуха!

— Придумываю, поклеп, абсурд и чепуха? — зловеще переспросил он. — Я ведь не напрасно предупреждал, что все о вас знаем. Сейчас вы в этом убедитесь, а я отмечу, что сами не признались, а вас заставили признаться предъявленные вам факты. — Он взял ручку и придвинул к себе лист бумаги. — Называйте свое имя, отчество, фамилию, перечисляйте поименно всех своих близких и друзей.

Меня охватил страх. Я понимал, что все мои родные и большинство друзей Сюганову известны и без моих сообщений — аресту предшествовали какие-то тайные розыски. Но называть их имена в этом учреждении означало провоцировать скрытые дознания об их поведении. Великим облегчением для меня было то, что ни один из названных мною друзей, это я узнал уже после осуждения, не заинтересовал Сюганова. Их даже не вызвали для справок обо мне.

Сюганов аккуратно заполнил протокол допроса, откинулся на стуле и насмешливо посмотрел на меня.

— Знаете, о чем говорит продиктованный вами список? О том, что вы хитрый враг советской власти. Вы называли людей, стоящих вне подозрений, но утаили своих сообщников по антисоветскому заговору.

— Я никого не утаивал.

— Тогда ответьте: знаете ли Бугаевского Евгения Александровича?

— Знаю. Но мы живем с ним в разных городах. Он москвич. Мы редко встречаемся.

— Редкие встречи тоже форма конспирации. А Валериана Быховского знаете? Он ленинградец, как и вы.

— Знаю, что он друг Бугаевского, тот говорил о нем. Но сам я Быховского ни разу не видел.

— Очень интересно — не видели. А Бугаевского видели в апреле этого года, не так ли?

— В апреле я проезжал через Москву в командировку на Украину, в Изюм, на завод оптического стекла. Задержался в Москве, зашел к Бугаевскому, посидели, поговорили...

— Задержался, зашел, поговорили?.. О чем поговорили?

— Обычные наши разговоры — о поэзии, о философии. Он говорил, что учение Ницше переживает новый подъем в связи с приходом к власти Гитлера. Я доказывал, что в философии Ницше нет истинной философии, только художественная болтовня и средневековая мистика.

— Философия, мистика, поэзия?.. А не в результате ли этого апрельского философского разговора ваш друг, а точней — соучастник Евгений Бугаевский пытался во время демонстрации 1 Мая на Красной площади прорваться из своего ряда к мавзолею, на котором стояли руководители партии и правительства? Вы уверены, что не разрабатывали в вашей философской беседе план террористического акта во время праздничного прохождения мимо мавзолея?

Меньше всего я был готов услышать о таком поступке Евгения. Что он способен на разные экстравагантности, все его знакомые знали. Но больше, чем на шалости, его не хватало. Вырываться из рядов поближе к мавзолею — этого к простым шалостям не отнести, каждый проходящий ряд отгораживался от другого цепочкой солдат.

— Вы не отвечаете на мой вопрос, — напомнил Сюганов.

— Я не знаю, почему Бугаевский выскочил из ряда. Он склонен к эпилептическим припадкам, никогда не расстается с люминалом. Уверен, что его поведение на Красной площади не имеет отношения к нашим разговорам.

— Тогда я зачитаю вам кое-что из его признаний после ареста. — Сюганов вынул из ящика стола несколько листов исписанной бумаги и громко прочитал: «Вопрос: Ваши друзья знали о ваших антисоветских настроениях, Бугаевский? Ответ: Я ни от кого не скрывал, что против советской власти, против диктатуры пролетариата, против единодержавия наших вождей. Вопрос: Почему не выдавали вас? Ответ: Они разделяли мои антисоветские настроения...» Сюганов положил бумагу в стол. — И среди многих друзей он называет и вас с Быховским. Будете теперь отрицать, что вы единомышленники и совместно разрабатывали антисоветский заговор?

— Все это измышления! Уверен, что и Бугаевский в своих показаниях не нес ахинеи о заговоре. Что он щеголяет вольными мыслями, все знали, но никогда их не принимали всерьез. Я его эскапады считал следствием болезни.

— Болезнь не помешала ему стать в двадцать лет доцентом Института экономики Наркомснаба — по рекомендации известного экономиста-антимарксиста и антисоветчика Рубина. Вы да он были из самых молодых наших доцентов. Вас, очевидно, тоже кто-то выталкивал наверх, и, не сомневаюсь, в антисоветских целях. Честно признайтесь — кто?

— Гражданин следователь, если у вас имеются данные против меня, назовите их. Пока вы ведете со мной бездоказательные разговоры.

— Завтра вам предъявят официальное обвинение. Очень жаль, что вы не захотели до него чистосердечно покаяться в своей борьбе против партии и правительства. Теперь скажите, как чувствуете себя в камере? На что жалуетесь? Еды хватает?

— В камере плохо — душно, жарко. Нельзя ли помыться в бане, сменить белье?

— Из камеры предварительного заключения в баню не водят, белье здесь не меняют, прогулок не дают. Все это будет, когда переведут в нормальные тюремные условия.

— Когда переведете меня в нормальную тюрьму?

— Зависит от вас. Признавайтесь в преступных замыслах против советской власти — изменим условия. Даже книги из библиотеки разрешим.

— Я признался во всем, в чем чувствую себя виноватым.

— Глупо ведете себя. Подумайте на досуге.

Конвойный отвел меня в прежнюю камеру. Досуга не было. Меня терзали жгучие мысли. Я задыхался от внутреннего жара. Два вопроса мучили меня — не распутав их, я не мог понять, что ожидает меня завтра и что я должен делать сегодня. Первый — почему Евгений учинил дебош на Красной площади? Он был талантливый сумасброд, скор на рискованные проказы, как-то сказал мне с сомнением: «Ламброзо пишет, что гениальность сродни безумию. Что я гениален, у меня давно нет сомнения. Но достаточно ли я безумен для подлинной гениальности? В этом я пока не уверен»! Он, конечно, мог решиться на глупый поступок, чтобы уверить самого себя в своей необычайности. Но не на Красной же площади перед мавзолеем и трибунами! Это не могло способствовать признанию гениальности в научном творчестве. Должна была быть совсем не политическая причина его неожиданному буйству, — собственным размышлением я постичь ее не мог.

...Прошло много лет, когда, уже освобожденный, я воротился в Москву и от родных Бугаевского узнал, что же реально происходило на Красной площади. Все оказалось сценой из опереттки, а не попыткой террористического акта. При вступлении на Красную площадь колонны из разных районов столицы смыкаются, только цепочка солдат разделяет их. И Евгений, патологически ревнивый, увидел, что в крайней колонне, шествовавшей впритык к мавзолею, его юная жена Мара, студентка музыкального училища, идет обнявшись со своим соседом, тоже студентом. Он гневно закричал на нее, она не услышала. И необузданный Евгений пытался — у самого мавзолея! — прорваться к ней сквозь колонну, чтобы по-мужски поучить пристойному поведению. Он был схвачен солдатами и уведен с площади. После краткого допроса его отпустили домой, но ненадолго. Агентурные данные о его поведении и скандал на площади зловеще сомкнулись на возможности злоумышленного намерения. Взяли снова, и на этот раз на Лубянку.

Второй вопрос мне казался не столь загадочным, хотя он был и наиболее важным и самым темным. Почему из списка продиктованных Евгением многочисленных друзей, знавших, как он утверждал, о его антисоветских взглядах, выдернули только двоих — меня и лично мне незнакомого Валериана Быховского? Что до меня, то особой загадки, думалось мне, не было. Я был личностью опороченной. И хотя двухромбовик Сюганов с пренебрежением отверг, как пустяки, идеологические извращения в моей лекции, сам я продолжал видеть в них главную причину того, что был выделен среди друзей Евгения. Наверное, и у Быховского имеются свои провинности, марающие биографию, думал я, вот и отметили нас двоих арестантской меткой.

И опять понадобилось много времени и собираемых по крупинкам фактов, чтобы я понял, почему нас троих сплотили в одну преступную группку. Уже девять месяцев, проведенных в следственных тюрьмах на Лубянке и в Бутырках, — 19 допросов в главной тюрьме Советского Союза (редкое количество для наспех сочиняемых следствий в 1936— 37 годах) и обвинительное заключение, подписанное самим Андреем Вышинским, должны были показать, что на примете есть нечто большее, чем болтовня трех проштрафившихся юнцов. Шла эпоха публичных судов над врагами социализма. Суды хорошо поднимали народную ярость против тех, с кем надлежало расправиться. Мы трое представляли неплохую коллекцию для процесса — не центрального, конечно, на такую роль мы не тянули, но для местного, районного, вполне годились. Ибо мы представляли собой «беспринципную амальгаму» — любимое выражение тех лет. Мой отец, слесарь, большевик-подпольщик, чоновец в гражданскую войну, чекист в первые послереволюционные годы, мог быть сочтен за здоровый, истинно наш корень. Александр Бугаевский, отец Евгения, меньшевик, адвокат по профессии, был корнем чуждым, даже злокозненным. А Быховский, отец Валериана, нес в себе начало исконно враждебное — правый эсер, член руководства этой партии, он, по чекистской классификации, относился к прямым врагам государства. И вот у трех отцов, противостоявших один другому, сынки сплотились в душевное содружество ради единой цели — вредить нашей родной советской власти. Сколько пламенных слов можно было произнести по этому случаю на открытом процессе!

Открытого процесса над нами не вышло. Многомесячное следствие на Лубянке не привело нас, троих обвиняемых, к единому согласию. Без такого партнерского согласия процесс не вытанцовывался. Махнув на нас в конце концов рукой, следствие передало обвинительное заключение, подписанное, как я уже сказал, главным прокурором Советского Союза, в Военную Коллегию Верховного суда СССР. Иона Никитченко, будущий наш судья на Нюрнбергском процессе главных военных преступников, человечек с мелким личиком крысы, снял в приговоре статью от 1-го декабря 1934 года, гарантирующую смертную казнь, и пустил нас троих в десятилетнее скитание по срочным тюрьмам и лагерям. Евгений Бугаевский не снес долгой дороги: спустя год после приговора, в 1938-м, он скончался в первой из предписанных нам срочных тюрем — Вологодской. Он был давно и тяжело болен, а тюрьма не санаторий.

### 5

В собачник принесли мое предварительное обвинение на одной странице и карандаш, чтобы я мог написать на обратной стороне листа свои вопросы и опровержения. В обвинительном заключении указывалось, что я состою членом подпольной троцкистско-террористической организации и что, посетив в апреле сего года члена этой же организации Евгения Бугаевского, вел с ним антисоветский разговор, клеветал на руководителей партии и правительства и высказывался в том смысле, что их всех надо убирать со своих постов как провалившихся в экономике и политике, даже если для этого понадобятся активные практические действия. Подобные преступные разговоры и задуманные действия попадали под Уголовный кодекс РСФСР, статья 58 (особые преступления против государства), пункты 8 (терроризм), 10 (антисоветская агитация) и 11 (антисоветская организация — группа единомышленников). К этим пунктам 58-й добавлялась еще зловещая статья от 1-го декабря 1934 года, мстительно объявленная на весь мир в день убийства Кирова.

— Набор у вас! — с уважением произнес болгарин, поинтересовавшийся (через плечо), что я с таким вниманием изучаю. — Даже если скинут иной пункт, остального хватит на всю жизнь.

Меня душили удивление и ожесточение. Я удивлялся тому, что мне приписали слова и действия, так же подходящие мне, как седло корове. Ни в яви, ни во сне я не чувствовал себя врагом властей, тем более — врагом общества. Так беспардонно оклеветали меня, и надо теперь изыскивать оправдания, доказывать, что я вовсе не я! Бесконечно оскорбительно логически убеждать кого-то, что явная ложь — не более, чем ложь. И, схватив карандаш, я набросал на обратной стороне листа не опровержение обвинений, а стихи о том, что я мог числить за собой.

ПРИЗНАНИЕ

Начинается строгий суд.

Признавайся. Тебя не спасут.

Ночь безжалостна и свежа,

День у следователя в плену.

Что имелось и где держал —

Покажи. Не скрывай вину.

Перед следователем сухим

Ты читаешь свои стихи.

Говоришь ему: признаю

Прегрешенья свои сполна.

Все имелось — любовь, жена,

Уголочек в скудном раю,

Дочь, мечты, две стопки стихов,

Ночь, крадущаяся в бреду,

День в трудах да еще в саду

Шорох трав и листвы глухой.

И вина есть — любил весну,

Осень, лето, седой ковыль,

Лес мятущийся, ветер, пыль

И народ свой, свою страну.

Так суди же меня скорей

Без открытых для всех дверей

И без жалости. Не должна

Жалость быть в превратном уме.

Так огромна моя вина!

Так безмерно, что я имел!

И в конце поставил дату — 11 июня 1936 года.

В эту ночь малярия трясла меня с особой жестокостью. А когда лихорадка прекратилась, рубаху можно было выжимать, как после дождя. Высыхая, белье становилось почти жестяным, его уже нельзя было смять, а только согнуть. Зато после приступа меня обволокивали горячечные видения, до того фантастические, что жалко было отрываться от них. Хворь все больше превращалась во что-то наркотическое.

С новыми допросами Сюганов не торопился, выдерживая меня в духоте, без бани, без чистого белья, без прогулок. Зато часто появлялись новые люди, сменявшие тех, кто проводил здесь два-три дня. Я вскоре стал единственным старожилом в камере № 6 Лубянского собачника. Новые люди жадно интересовали меня — от них веяло волей, иные приносили с собой и запахи хороших духов. Я вникал в характеры и судьбы — понемногу и по неволе вырабатывалось то внимание к человеку, какое впоследствии принудило меня уйти из физики в художественную литературу.

Одного из постоянно менявшихся обитателей собачника я хорошо запомнил. Его ввели в камеру отощавшего, ослабевшего, смертно перепуганного и указали место рядом со мной. Он был средних лет, в хорошем заграничном, но не просто помятом, а жестоко вымятом костюме, в красивой когда-то рубашке, теперь вряд ли чище половой тряпки, и с рыжей щетиной на щеках. Только этим — давно не скобленной бородой — он был схож с нами, в собачнике парикмахеров не водилось. Зато в одежде мы, взятые сразу с «воли», еще сохраняли какую-то опрятность. От нового сокамерника густо несло этапом — грязными нарами, переполненными парашами, умыванием наспех и без мыла. На Лубянке — и в собачнике, и в тюремных камерах — параш не было, нас по требованию выпускали под надзором охранника в нормальные уборные.

— Вы откуда? — спросил я.

Он посмотрел на меня с опаской и ответил с сильным немецким акцентом — впоследствии я убедился, что он прилично владеет русским, но в минуты волнения сильно путается и в словах, и в произношении:

— Минск. Уезжал к себе. Арестовали на вокзале.

— К себе — это куда?

— Вена. Я Пальман.

Он произнес свою фамилию так, словно не сомневался, что я ее хорошо знаю.

— Где я? — спросил он, помолчав. — Меня везли много дней из Минска, на станциях столько стояли. Ужас, сколько стояли!

— Вы в Москве, в тюрьме на Лубянке.

— У вас очень чисто, — сказал он с уважением, оглянув камеру и соседей, — но умывальника нет. А как кормят? В Минске и в поезде так кормили!.. Почти совсем не кормили. Воры все забирают себе.

— Умывальник есть в коридоре. И мыло есть. А воров нет. Здесь народ похуже воров — политические. Еда тюремная, но хватает. Даже остается несъеденное.

— Значит, и я политический? — вдруг испугался он. — Ваша Чека... Столько о ней пишут у нас. Я в Чека, да?

— По-старому — в Чека. По-новому — в ГПУ. Впрочем, хрен редьки не слаще. Не смотрите с таким ужасом, это пословица.

В комнату вошел дежурный в валенках, за ним два охранника несли ведро с кашей — на палке в качестве коромысла, ведро было тяжеловато. Нам раздали большие миски и ложки, дежурный плеснул каждому по черпачку. Каша — не помню уже, пшенная или перловая — была густо сдобрена кусочками мяса. Я проглотил ложки три и отставил миску, то же сделали и другие старожилы, нам давно было не до еды. Пальман свою порцию не съел, а заглотил и потом с томлением оглядел, что оставили в мисках соседи. Было ясно — если бы закоренелое интеллигентское воспитание не восстало против этого, он с жадностью доел бы все, что осталось у других. Я пожалел его.

— Сейчас придет дежурный забирать миски и ложки — попросите добавки.

— Меня не накажут? — спросил он с опаской.

— Что вы! У них всегда остается еда. Еще обрадуются, что не надо выбрасывать.

Мои уговоры убедили Пальмана. Вошел дежурный, и Пальман попросил добавки. Дежурный с удивлением посмотрел на него, но ничего не ответил. Минут через пять он снова появился с полной миской. На этот раз Пальман не торопился проглотить еду, а наслаждался ею неторопливо. Покончив с кашей, он поглядел на меня сияющими, растроганными глазами.

— За все две недели после ареста столько не ел. И как вкусно! В тюрьмах так не кормят. Там можно умереть с голода.

В тюрьмах — я вскоре это узнал — и пересыльных, и срочных, с голоду не умирали, но есть хотелось всегда, кормили там по-иному, чем на Лубянке. Пальман продолжал:

— Я бы еще столько мог съесть, такая хорошая каша!

— А вы съешьте, — посоветовал я. — Попросите у дежурного еще добавки. Он не откажет.

Пальман уже не сомневался, что в моих уговорах звучит много раз проверенная правда Лубянской тюрьмы. Но его новая просьба имела неожиданные последствия. Дежурный буркнул, что посмотрит — осталось ли. Несколько минут ничего не происходило, а затем вошли двое — он и корпусной.

— Этот,— сказал дежурный, ткнув пальцем в Пальмана.

— Ага, — зловеще откликнулся корпусной, и оба вышли, больше ничего не сказав.

Пальман снова испугался, что его накажут за недозволенную просьбу. Я успокаивал его, но без настоящей уверенности. Все казалось возможным в корпусе, где не разрешали прогулок, не позволяли менять белье, хоть изредка посещать баню. Но кормили — несомненно — по норме. Я жалел, что подал Пальману рискованный совет.

Прошло минут двадцать, и дверь опять распахнулась. В камеру вошли сразу четыре человека. Впереди вышагивал корпусной, неся в протянутых руках, как некое сокровище, нашу обычную алюминиевую ложку, за ним два охранника тащили на палке ведро, полное каши, а замыкал торжественное шествие дежурный.

Ведро поставили на пол около нары Пальмана, корпусной вручил ему ложку, показал на ведро, приказал:

— Все съесть! — И поспешно отвернулся, чтобы скрыть рвущийся из него беззвучный хохот.

— Я же всего не съем! — с испугом сказал мне Пальман, когда за стражами закрылась дверь. — Меня накажут, что напрасно просил так много.

— Ешьте сколько сумеете. За еду вволю у нас пока не наказывают даже в тюрьмах.

Пальман все же основательно потрудился над ведром, и его уже можно было нести одной рукой, а не на палке. Когда он пиршествовал, утоляя накопленный за две недели голод, волчок в двери неоднократно распахивался, а в коридоре слышался неясный шум, похожий на сдавленный хохот. Отвалившись от ведра, Пальман, не раздеваясь, рухнул на нару и уже не видел, как дежурный с охранником забрали полегчавшее ведро.

На другой день ничто в Пальмане не напоминало о терзавшем его волчьем аппетите. Я думаю, что он вскоре стал бы оставлять в миске недоеденную порцию, как все мы, если бы его раньше не увели из собачника.

В те два или три дня, что он находился в камере № 6, мы, лежа на соседних нарах, тихо, чтобы не мешать другим, часами беседовали. Он не напрасно считал, что его фамилия должна быть известна каждому культурному человеку. Ученик и друг знаменитого Андреаса Сеговия, Пальман был, вероятно, вторым после учителя гитаристом в Европе. Он называл мне города, в которых шли его концерты, — все европейские столицы значились в этом списке. В Советский Союз он тоже прибыл на гастроли — концертировал в Ленинграде и Москве, потом поехал в республику немцев Поволжья и несколько меся цев провел там среди соплеменников. При отъезде новые знакомые попросили захватить с собой несколько писем и отнести их на почту, только за рубежом. Что в них написано и кому они адресованы, он понятия не имел, но после ареста в Минске следователь сказал: их вполне хватит, чтобы надолго попасть в тюрьму; сам он не берется решать судьбу Пальмана — все же иностранный подданный, но в Москве установят и степень вины, и меру наказания.

— Как вы думаете, меня освободят? — с надеждой спрашивал меня Пальман. — Я же не знаю, что в тех письмах.

— Плохо, что вы согласились перевозить секретную литературу, это у нас не поощряется. Но и засадить вас надолго тоже непросто. Вы человек очень известный, в печати поднимут шум. Ваши родственники обратятся к правительству Австрии, вы ведь австриец, правда? Ваши родственники влиятельны в своей стране?

— Родственники хорошие, — ответил он со вздохом. — Но они борются против нашего правительства. Они нацисты.

— Это осложняет дело. Но существует печать. Уверен, что австрийское правительство откликнется на возмущение печати вашим арестом и вы скоро возобновите концерты в Вене. Жалею только об одном — мне так и не удалось послушать вашу гитару, и уже никогда не удастся.

Когда Пальмана уводили, он долго сжимал мою руку, молча благодаря за внимание и сочувствие. После ухода Пальмана в камере случилось необыкновенное происшествие, которое потом, когда я рассказывал о нем, опытные старожилы домов Чека и ГПУ относили к фантастически невероятным. В какую-то ночь к нам вдруг втолкнули пьяного мужчину, он разлегся, не раздеваясь, на свободной наре и захрапел, распространяя густой перегар. Утром он ужаснулся, узнав, что сидит в тюрьме, стал стучать в дверь и требовать освобождения. Корпусной объяснил, что происшествие с ним изучается — возможно, сегодня же освободят; пока сиди и не рыпайся! Немного успокоившись, мужчина воротился на нару и рассказал, что случилось с ним этой ночью.

Их было шестеро парней, рабочих автомобильного ЗИСа — завода имени Сталина, вероятно, самого крупного предприятия Москвы. Собравшись после смены, они отметили завершение дня пивком. Пивнушку закрыли много раньше, чем они могли стерпеть: требовалась срочная добавка. Все шестеро зашагали по ночной Москве в поисках выпивки. Забрели на площадь Дзержинского, увидели здание ГПУ и решили, что здесь уж, точно, свободно пьют. Стали стучать, двери отворились, им объяснили, что ломятся не туда, куда требуется. Они снова застучали и достучались до того, что вышла группа людей и повела их в собачник, разместив отдельно по камерам. На шесть человек имелось шесть камер, и в каждой — свободные нары.

— Что мы сделали! Что сделали! — сокрушался ночной гость. — Дурь вошла в голову! Теперь будет такая проработка по профлинии!

— Вряд ли все ограничится одной профсоюзной проработкой, — поделился со мной сомнениями новый сосед, заменивший Пальмана. — Очень странная история! Нашли где ночью требовать пива!

День у рабочего с ЗИСа прошел в тревожном ожидании — вероятно, в это время наводили справки на заводе. Ночью вошел корпусной с бумагой, спросил фамилию, имя, отчество, адрес нашего временного гостя и повел его за собой. Заводские отзывы, по всему, оказались благоприятными — его выпустили на свободу. Мы в камере посмеялись удивительной истории и порадовались за всех шестерых, что глупая их выходка закончилась благополучно.

Но благополучно она не закончилась. Она имела зловещее продолжение. Ночью нашего знакомого вернули в камеру. В немом сочувствии мы слушали его новый рассказ. Рабочих, точно, выпустили, но один выпущенный оказался не из той компании. В соседней камере содельник по «пивной охоте» рассказал свою историю, назвал сокамерникам фамилию и все прочие анкетные данные, а ночью крепко уснул. Когда явился корпусной, чтобы вывести его на свободу, поднялся другой человек, назвался его фамилией, точно ответил на все вопросы — и очутился за стенами тюрьмы. Утром бедолага с ужасом узнал, что вместо него освободили другого человека. Он потребовал обещанной справедливости, но добился того, что в тюрьму срочно вернули и остальных пятерых.

— Что теперь будет? — чуть не с рыданием вопрошал наш сокамерник. — Товарищ с двумя шпалами в петлицах кричал, что мы организовали побег важного преступника и что нам теперь, как его соучастникам, припаяют все, что паяли ему. А мы же ни сном ни духом! Мы же не организаторы! Очень выпить хотелось — только и всего!

Мой новый сосед с сомнением покачал головой.

— Очень странная история! — повторил он. — Либо совершилось невероятное совпадение случайностей, либо это гениально организованный заговор. Я лично склоняюсь к последнему. Посудите сами. Москвичи — и не знают, что на Лубянке торгуют не пивом, а человеческой судьбой. И компания — шестеро, точно по человеку на каждую из наших шести камер, один непременно попадет в ту, где сидит беглец, ведь по двое соучастников рассаживать не будут. И именно этот, попавший к беглецу, вслух подробно расталдыкивает все свои анкетные данные, а потом безмятежно засыпает, вместо того чтобы в тревоге ожидать, когда придут вывести его на волю, как сделал бы каждый из нас. Вряд ли эти шестеро найдут в ГПУ дураков, поверивших в такие красочные сказки.

Мне лично больше импонировал первый вариант — фантастический схлест неконтролируемых случайностей. В нем ощущалось нечто более мощное и непреодолимое, чем в самом блистательном заговоре, — рок, командующий действиями людей. Я был готов поверить в невиновность рабочих с ЗИСа уже по одному тому, что невиновность их противоречила логике.

Временного гостя от нас под вечер увели — и больше я не слышал ни об этих рабочих, ни о небывалом до того в истории Лубянки удачном бегстве подследственного.

Настал и мой час покинуть собачник после месячного проживания в нем. Меня перевели в центральную тюрьму N 2, в камеру N 39 (или 69, я стал забывать ее номер). Долго я потом старался узнать, почему главная тюрьма страны идет под вторым номером — где же размещается первая? Я шел в свою новую камеру с чувством облегчения — будут прогулки, баня, чистое белье, парикмахер, может, и книги. Я был уверен, что долго сидеть в этой камере мне не придется, ведь все определено: мне шьют террор, я от террора отбиваюсь и никогда на него не соглашусь — чего еще вымогать от меня? Я и не догадывался, что буду еще пять месяцев жителем новой камеры, пройду по долгой цепи допросов, а потом хлебну четыре месяца лиха в Бутырке, пока меня не призовет в Лефортово на окончательную расправу судьба в облике Военной Коллегии Верховного суда СССР.